

СНОВА МЕЖДУ ВРЕМЕНАМИ: К СЕМИОТИКЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ИСКАНИЙ

Лебедев В.Ю.

Тверской государственный университет, Тверь

Современная семиосфера отличается семиотическим кодированием, когда экзистенциальные топосы вводятся в текст в соответствии с особенностями современной культурной среды, в которой многие семиотические процессы ограничены рамками постмодернистского дискурса. Аналогичным образом, в контексте постсекулярного общества предлагаются новые способы говорения о Боге. Эта парадоксальная ситуация несоответствия актуальности экзистенциальных смыслов и их опошления может потребовать обращения к нетрадиционным и неожиданным средствам семиотизации. Она может быть провокационной, шокирующей, богатой сложными интертекстуальными аллюзиями. Из-за этой сложности воспринимаемый как андеграундный и некачественный или даже вульгарный текст превращается в текст для элитной группы реципиентов, способных идентифицировать и объяснить семиотические устройства, что приводит к адекватному пониманию. Такие маргинально-элитарные референтные группы вполне совместимы с современной лиминальной культурой, где семиотическая инверсия имеет широкое распространение.

Ключевые слова: религия, смерть, постмодернистский дискурс, эпатаж, трикстер, экзистенциал, референтная группа

Основная особенность семиосферы постмодерна часто характеризуется несколько упрощенной, но точной формулой: «Ничего нового сказать нельзя». Постмодернистский дискурс в таком случае превращается в перетасовку фрагментов разнообразных текстов, бытующих в культуре и фиксированных ею, а также созданием имитаций. С другой стороны, экзистенциальные вопросы, появляющиеся в самой реальности, ничуть не снижают ни важности, ни актуальности, как в целом, так и для отдельных индивидов, сохраняют своего рода «навязчивость», «неотступность» (флуктуационные изменения культуры не производят здесь каких-то заметных изменений), каковые свойства проецируются в семиотическую область, когда происходит поиск способа их семиотизации в

качестве экзистенциальных топосов. Можно утверждать, что, как и в период Серебряного века, современное искусство наполнено богоискательскими настроениями. Другое дело, что в духе т.наз. «бедной религии», они имеют необычную форму и могут восприниматься как совершенно безрелигиозные или даже профанирующие. Соответственно, и тема смерти, связанная с религией, осмысливается не менее активно, чем во времена «плясок смерти» Блока и Федора Сологуба.

Однако даже к таким экзистенциально напряженным ситуациям (и их текстовым репрезентациям) как рождение, смерть, реже – иные лиминальные ситуации, применимо уже отмеченное свойство постмодернистского дискурса. Тексты, семиотизирующие важнейшие экзистенциалы, тем не менее могут восприниматься как скучные, вторичные из-за универсальной постмодернистской «изношенности». Вместе с тем, даже в условиях малочитающего общества, тенденция тяготения к именно таким текстам в ситуации витального экзистенциального переживания (витальное потрясение, умирание и т.п.) сохраняется, будучи психоантропологической универсалией, мало зависящей от смены культурных укладов. В результате предпринимаются попытки пробудить интерес к тексту, который воспринимается устаревшим, но как имеющий отношение к экзистенциальной топике – вполне актуален.

В итоге в настоящее время мы наблюдаем смену семиотических стратегий и вообще способов донесения экзистенциального до реципиента, а точнее, до разных референтных групп реципиентов. Постмодернистская семиосфера и проникнутый постмодернистскими установками социум вообще демонстрируют дробление последнего на разнообразные социокультурные группы, а также инверсию этих групп, в результате которых классическая социологическая пирамида все условнее и условнее отображает реальную картину культуры, ее дифференциации и стратифицированности. Говоря упрощенно, Бог и смерть не меняются, но весьма разнообразно меняются способы говорить о них и понимать сказанное.

В качестве примера, как одну из стратегий можно указать переводы с устранением средств с архаизированной семантической окраской. Как пример можно привести две версии перевода Микеланджело.

Ф.Тютчев:

Молчи, прошу, не смей меня будить.
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Отрадно спать, отрадней камнем быть.

По сравнению с тютчевским переводом, воспринимаемым в настоящее время (!) едва ли не как архаичный, версия А. Вознесенского приближена к лексике и эмоциональной палитре нашего современника:

Блаженство – спать, не видеть злобу дня,
Не ведать свары вашей и постыдства,
В неведении каменном забыться...
Прохожий, тсс... не пробуждай меня!

Но более детально мы хотели бы обратиться к стратегии семиотизации, которая использует инверсию. Обычно в таких случаях говорят не о собственно инверсии, а об использовании сниженных или «неадекватных» средств притом, что референт наделяется значимостью, в частности, экзистенциальной. Речь идет, разумеется, не о примитивных «переложениях классики для гопников», поскольку мы сталкиваемся с еще одной чертой постмодернистской ситуации: владение разными, порой полярно различными, субъязыками не маркирует строго культурную и социальную позицию индивида или группы. Более того, то, что первоначально было субъязыком сниженным (напр., субъязык «гоблинских переводов» или субъязыки молодежной интернет-коммуникации) становится маркером принадлежности к элитным группам, а сами средства подвергаются дивергентной интерпретации, когда «своими», понятными их могут одновременно назвать социокультурные группы с не просто различными, а полярными установками, ценностями и социальными ролями. Эта ситуация чревата тем, что использование изначально «примитивного» субъязыка или мозаики из разных субъязыковых средств может создавать семантический абсурд, блокировать понимание и требовать тщательного обратного перевода и декодирования.

В результате и Шиш Брянский, и фактически ставший его соавтором Псой Короленко пользуются парадоксальной двойной популярностью – среди маргинализированных групп (в частности, не вполне социализированной молодежи, наслаждающейся характерной для этого возраста свободой) с одной стороны и среди представителей интеллектуальной среды, в частности, преподавателей ВУЗов, способных, например, подвергнуть необходимой деконструкции включения обценного дискурса и т.д. Текст декодируется совершенно различно, более того, это становится основанием для социальной саморефлексии и самоидентификации и, наконец, может выступать как способ рефлексии над проблемами религиозными. В свою очередь, способы и стратегии декодирования текстов являются частью портрета социальной группы. Эта ситуация видится нам типично постмодернистской. Таким образом подобные тексты «элитизируются». Как один из примеров можно

указать ОБЭРИУтов, когда абсурдность текстов часто была следствием неготовности реципиента и необходимости «эзотерически-элитистской» интерпретации. Кстати, это помогло Д. Хармсу подвизаться какое-то время на ниве детской литературы, так как за абсурдом увидели только игру, которая детской литературой востребована. Думается, что более тщательное и серьезное прочтение не повлекло бы приглашение сотрудничать в изданиях для детей (кстати, об откровенных богоискательских мотивах у ОБЭРИУтов пишут довольно скупое, непропорционально их серьезности; возможно, одна из причин в том, что основная линия этих поисков лежала не в поле монотеистических религий). Извне ситуация предстает как игровая, даже трикстерская – или как профанирующая. Восприятие в последнем качестве часто ведет к культурному шоку.

В свете сказанного стихотворение Шиша Брянского (Кирилла Решетникова) «Пташечки осенние», порой публикуемое и под иными названиями, выступает как репрезентативное. Помимо текстовых особенностей, отмеченных выше, оно демонстрирует особенность, которую мы хотели бы назвать «семантической амплификацией»: одни и те же экзистенциалы (или иные семантические единицы) семиотически кодируются разными средствами (степень различия может быть различной, вплоть до отнесения к разным субъязыкам). С учетом происходящей у нас на глазах фольклоризации данного текста (как и ряда других текстов названного автора) и появления вариативности мы приводим его в той редакции и с тем названием, как его предлагает интернет-ресурс.

1 а. Ах, свались, кирпичик, мне на голову,
Пусть мне будет сретенский асфальт соломой.
Грех летать бумажному мне голубю
Над землей зеленой, над водой соленой.
Все вокруг останется такое же,
Лишь с бомжом случится пароксизм участия
И душою в дальнем брянском колледже
Юноши смутятся.

1 в. Рать увижу в тот же миг небесную,
Чьи трубят уж в трубы голубые губы,
Встречу тихой ангелов я песнею
И исчезну с ними в голубиной глубине.
С теми, что несли пророкам знание,
Дол росой росили и врагов разили.
Ах, слетите, дети несказанные
Матери России.
Р.Ах вы, пташечки осенние,
Духа сладкий азот,

Прояснение

Хладных высот.

2 а.Откуси мне сердце, Чикатилонька,

Одари своими ты меня дарами.

Роль исполни нежного кадилъника

В этом тварном храме, в этой как бы драме.

Вновь ни с чем останется милиция,

Буду безвозмездно я тебе дарован,

Буду вечно за тебя молиться я,

Чтоб ты был здоровым.

2 в.Нить к тебе протянется незримая,

Ратям о тебе я расскажу и сонмам,

Хлопья света на тебя низрину я,

Чтобы в тёмном мире не скучал ты сонным.

Чтоб во тьме не ползал ты улиткою,

Чтобы с грубой смертью не играл ты в прятки.

Если встанешь утром ты с улыбкою,

Значит, всё в поряд(ь)ки.

Р.Ах вы, пташечки осенние,

Духа терпкий азот,

Прояснение

Смутных высот.

3 а.В мае тихом полночью таинственной

Лунного так сладки молока удои,

Сон мне снится, снится сон единственный

О чудесной доле, о благой юдоли.

Там мир что книжечка с картинками,

Ручейком глухие утекли печали,

Все мужчинки стали Чикатилками,

Бабы — кирпичами.

3 в.Ах, простимся, зорька подмосковная,

Ты моргни мне вслед, как пролечу я мимо,

В миг последний радостно вспомню я

Всё, что в жизни было, всё, что сердцу мило.

Поднимусь я в небо легче пёрышка,

И услышат ушки облачков-овечек,

Как в моём сердечке перепёлочка

Синяя щебечет.

Р.Ах вы, кысоньки весенние,

Духа горький озон,

Землетрясение

Портит газон¹.

В композиционном и семантическом отношении текст разбивается на фрагменты-блоки с рефреном (но без дословного его повторения). Три крупных блока делятся на пары более мелких, что маркируется уже метрическими средствами. Доминирует экзистенциал смерти и соответствующий топос - топос умирания, но в порядке семантической амплификации для семиотизации одного и того же используются разные средства. Семантически текст монотематичен, в значительной степени медитативен, развитие темы или даже определенных событий, которое можно усмотреть при беглом прочтении, если и не вполне мнимое, то совершенно не существенное для понимания, референт не меняется – это умирание, вплоть до самого момента выхода из пространства жизни. В семиотическом плане – интересный мозаичный набор, который в провокативно-игровом духе кодирует одно и то же, что создает внешний эффект разнообразия. Мортальная топика создается за счет неадекватных, непривычных, провокативных и даже «ернических» языковых кодов. Как справедливо указывает А.Г. Степанов, анализируя поэтику Б.А. Слуцкого, говорить о трагическом, о смерти можно и используя непривычные для этого средства, например, раешник. Эффект иррационального кошмара таким образом усиливается, а отнюдь не снижается.

Блоки мы выделяем, исходя из разделительной функции рефрена, при этом каждый блок делится на два более мелких.

Такая семиотическая стратегия оправдывает призывание «кирпичика», который должен свалиться на голову, с чего и начинается текст. Безразличие окружающих к этому событию, карикатурно усиленное указанием на «пароксизм участия» у случайного бомжа, создает одновременно как эффект абсурда и насмешки, так и акцент на одинокой смерти, которая никого не интересует. Однако в экзистенциальном плане неодинокой смерти и не бывает, даже в религиозном контексте она в значительной мере сохраняет это свойство. Упоминание юношей из «брянского колледжа» усиливает семантику ненужности, исход из которой через смерть кажется уже не таким и нелепым (Брянск и Москва даже географически не соседствуют, а колледж никак не связан с прочими реалиями, представленными в тексте). Если реципиент декодирует текст просто как «хулиганскую невнятицу» - частая ситуация для текстов Шиша Брянского – то эти уточнения (не Москва, а именно Сретенка, бомж, колледж в Брянске) будут восприняты как чистый абсурд и не более.

Следующий блок семиотизирует события одинокой смерти в более традиционной, даже церковно-архаизированной манере, хотя амплифицируется ровно то, о чем уже было сказано – одиночество и

умирание. Ангелы, вслед за бомжом, оказываются единственными тварными существами, которым эта смерть не безразлична. Хотя возникают скорее посмертные образы (встреча души ангелами), это по-прежнему некая визионерская картина умирания, начинающаяся еще в первом блоке.

Следующий блок задает эквивалентные обстоятельства смерти: не несчастный случай, а убийство (хотя модальность просьбы, как и в первом блоке вполне допускает и завуалированное самоубийство). В качестве актора выступает носитель одиозного и нарицательного имени, связанного с эмоциями гнева и отвращения (и даже с определенным табу), что с одной стороны, должно предсказуемо шокировать ряд читателей, а с другой, указать на то, что даже такая смерть представляется желанной, о чем свидетельствуют дальнейшие благодарности, уверения, что «милиция останется ни с чем», а освобожденная душа станет молиться за убийцу на небе, как за сделавшего нечто нужное и даже благое – давшего возможность уйти за пределы жизни. Освобождение души подано отчасти в семантике черного юмора.

Далее следует медитативный фрагмент, содержательно довольно близкий к привычным текстам такого жанра, что однако маскируется двумя последними строчками, намеренно эпатажными и шутовскими.

Наконец, последний блок описывает опыт выхода в посмертие, что в литературной традиции подразумевает целый корпус текстов разных, хотя и смежных, жанров. Вообще же, семиотика посмертия – вопрос для самостоятельного исследования. Семантика блока усложняется за счет косвенной цитации, в частности, отсылок к текстам У. Блейка, а заканчивается опять же шутовским (шута мы понимаем как фигуру культурного ландшафта, а не банального повседневного скомороха) рефреном, который одновременно завершает и сам блок, и весь текст в целом, разрушая ту предполагаемую серьезность, которая должна быть присуща текстам мортальной тематики в их привычном понимании, от которого автор и стремится отстраниться, по отношению к которым он хочет занять позицию, позволяющую использовать необычную «точку семиотического зрения» (по Ю.С. Степанову). С. Чупринин вообще относит тексты Шиша Брянского не к литературе эпатажа и провокации, но и к полистилизму, что для нас принципиально важно, так как полистилизм формирует полиинтерпретативность.

Перед автором стояла серьезная задача подбора новых текстовых средств для семиотизации вечно актуального экзистенциала. Задача усложняется (но одновременно становится и более интересной) в ситуации «между временами», когда эффектный пожар постмодернизма в целом угас,

превратившись в предмет изучения, относящийся к прошлому, а контуры новой единой семиосферы искусства еще не явлены, искусство имеет отчетливое и очень пестрое групповое деление, включающее, наряду с другими, элитарные и псевдоэлитарные группы. Одновременно для незрелой публики, преимущественно молодежной, автор предстанет как использующий обценную лексику; ничего другого она не увидит. Таким образом, текст не только сам отберет себе аудиторию (механизм, описанный, в частности, Ю.М. Лотманом), но и спровоцирует фрагментацию читательского сообщества на группы, которые будут соотноситься с социальной стратификацией, прежде всего, по формально-образовательному признаку и общекультурному уровню. Часть этих групп причастна и к современным богоискательским движениям, столь характерным для эпох рубежа веков в целом. Кажущиеся сегодня осторожными и невинными религиозные высказывания, например, Д.С. Мережковского об исторической Церкви и Третьем Завете или В. Розанова о христианской аскезе и телесности (за Розановым, кстати, тянулась репутация автора откровенно кощунственного и хулиганствующего, эпатирующего, о будущем его текстов как классических почти никто всерьез не думал – показательная интерпретационная переключка двух времен), религиозная поэзия символистов (хотя и не только их) воспринимались когда-то примерно так, как сейчас – «эпатаж-литература» в лице того же Шиша Брянского.

Во избежание эффекта опошления (прежде всего в виде воспроизведения банальностей) необходимо заново установить дистанцию и добиться нового видения вечных проблем после неизбежного промежуточного периода отстранения и остранения. Интерпретационная модель, предложенная В.Б. Шкловским, как раз подходит для ситуации «между временами». Такой промежуточный период освобождения языка от коннотаций банальности и вторичности (достаточно вспомнить резкое высказывание Н.С. Гумилева по поводу стихов Д. Ратгауза, посвященных все тем же вечным экзистенциалам затерянности и одиночества, но охарактеризованных именно как банальные) может предполагать и введение экзистенциала в форме абсурдистской семиотики или трикстерского дискурса, что автор рассмотренного текста и делает. К сожалению, очень часто исследователи, а тем более критики не делают различий между собственно эпатажем и трикстерством, как явлением более сложным, многомерным и проделавшим сложный культурный путь. Тогда становится понятным конфузный (о «конфузном эффекте применительно к текстам Шиша Брянского говорит и С. Чупринин, хотя по сути конфузность здесь

продуманная и мнимая) эффект, созданный в рамках эпатаж-литературы, поскольку он входит в семиотическую программу трикстерского семиозиса.

BACK BETWEEN THE TIMES: TOWARDS THE SEMIOTICS OF RELIGIOUS PURSUITS

V.Yu. Lebedev

Tver State University, Tver

Modern semiosphere is distinct in its semiotic coding when the existential topoi are introduced into the text in conjunction with contemporary cultural environment in which many semiotic processes are controlled by postmodernist discourse. Similarly, in the context of a post-secular society new ways of speaking about God are offered. This paradoxical situation of a discrepancy between the urgency of existential meanings and their triteness may demand turning to unorthodox and unexpected means of semiotization. It can be provocative, shocking, rich in complex intertextual allusions and amplifications. Due to this complexity an outwardly underground and substandard or even vulgar text evolves into the text for an elite group of recipients capable of identifying and explaining semiotic devices, which alone leads to an adequate understanding. Such marginal-elite reference groups are quite compatible with today's liminal culture where the semiotic inversion appears to be wide-spread.

Keywords: religion, death, postmodern discourse, epatage, trickster,